

ПРОНЗИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"



НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

Жребий праведных грешниц
Сибиряки

Жребий праведных грешниц

Наталья Нестерова

**Жребий праведных
грешниц. Сибиряки**

«Издательство АСТ»

2015

Нестерова Н.

Жребий праведных грешниц. Сибиряки / Н. Нестерова —
«Издательство АСТ», 2015 — (Жребий праведных грешниц)

ISBN 978-5-17-088872-6

Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской истории. С одной стороны – сельсовет, советская власть. С другой – «общество», строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать безумному духу времени: хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом – полная чаша, всем на зависть, а любимый сын – представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и «доходягу шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как нож по сердцу. То ли еще будет... Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие? Об этом – первый роман трилогии Натальи «Жребий праведных грешниц».

ISBN 978-5-17-088872-6

© Нестерова Н., 2015

© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Часть первая	7
Анфиса	7
Еремей	14
Дом	21
Степан	27
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Наталья Нестерова

Сибиряки

© Н. Нестерова, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Автор выражает искреннюю благодарность всем историкам, краеведам, этнографам, фольклористам, ученым других направлений, чьими стараниями собраны и сохранены бесценные свидетельства о прошлом Сибири.

ОСОБАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Елене Михайловне Дутовой, заведующей отделом краеведения Центральной городской библиотеки города Омска, ведущему методисту отдела Оксане Викторовне Буратынской

Марине Александровне Жигуновой, кандидату исторических наук, заслуженному ветерану Сибирского отделения Российской академии наук.

Ларисе Алексеевне Ивановой, заведующей отделом этнокультурного наследия Историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».

Российское могущество прирастать будет Сибирью.

М.В. Ломоносов (1763)

Сибиряки отличаются душевными особенностями: они умны, любознательны, предприимчивы.

Екатерина Великая

Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе, а Сибирь сама по себе.

П.И. Небольсин, русский этнограф, историк, экономист (1848)

Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность.

И.А. Шестаков, Управляющий Морским министерством (1886)

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей.

А.П. Чехов (1890)

...У них [у сибиряков] чрезвычайно, до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно-буржуазная и притом дурного тона практичность.

Т.И. Тихонов, корреспондент «Русского вестника» (1897)

Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных! Такое место в мире – Сибирь!

Марк Твен. «Том Сойер за границей»

Сибиряки – особый тип людей (преимущественно русских), обладающих сибирским характером: сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные,

демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. <...> Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны.
Энциклопедия Сибири

Часть первая

Омская область, 1923 год

Анфиса

Степан ужинал затемно. Домашние три часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан – власть, председатель сельсовета.

Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду – будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала.

Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал:

– Сватов засылайте. Жениться буду.

Руки матери, Анфисы Ивановны, произвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, тринадцатилетняя Нюрня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюранин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив.

– У, халда! – прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. – Не ты наживала, не тебе колотить!

Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить негаданную радость. Только радость ли? Степану почти тридцать лет, и жениться мать его давно принуждала. Но у сына был один ответ:

– Еще погуляю.

– Погулялка сотрется, – злилась мать.

И подыскивала ему невест, одна другой краше и справней. Ту же Марфу взять – Степану предназначалась, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали – грех был бы такую работящую девку упускать. Двух батраков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа, из старательской таежной артели вернувшись, в красноармейцы подался, Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений. Опять-таки при власти оказался. Хотя пользы для семьи от его власти – как с воробья сала.

Ничего поделат с большаком – так у них старших сыновей называли – Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан – мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь ломает.

– И кто ж тебе глянулся? – спросила мать. – Кому сватов засылать?

– К Прасковье Солдаткиной.

Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки: муж молчит, только нахмурился слегка, Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать, Петька головой мотает – как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как боль-

шаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает.

– Еремей Николаевич! – хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна.

Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А громы метать по каждому поводу и без повода – под настроение – Анфиса была мастерица.

Вот и теперь она, голос обрета, разорялась:

– Спасибо, сыночек! Низкий поклон за большую честь! Порадовал! Перед людьми не стыдно! Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, голытьбу распоследнюю...

– Мамаша! – предостерегающе поднял руку Степан.

– Что мамаша? Затем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обществом? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится! Долго искал, сыночек. А то ехал бы сразу в Омск, там в богадельне убогих, да калеченых, да умом тронутых тыщи, промеж них получше Параськи нюхлой кого отыскал бы!

Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся:

– От желанья сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям.

– Не смей мать похабными словами обзывать! – зашлась в крике Анфиса Ивановна. – Дубина стоеросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покорыстоваться...

Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу.

Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа покорно, свесив руки вдоль тела, опустив голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем, неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку, за дело или без дела, – это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки – тоже в обычае. Только невестка должна плакать тайно, сгорючившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, представившемся родном человеке. Выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайтись в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит – это дурной характер и плохое воспитание, изнеженность. Потому что слезы – от себяжаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится.

– Ты чего? – растерялась Анфиса Ивановна. – Ополоумела?

– А ну цыть! – подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке.

Было непонятно, кого он приструнивает – разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком, по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюраня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подготавливать. Все ему весело.

– У! Турка! – обругал Еремей Николаевич жену.

Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться, а посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука.

Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, нос ключиком – чисто птица галка. Может, она по национальности и не турчанкой была, а бессарабкой или албан-

кой, или с арабских земель – кто ж знает. Но басурманка – точно. Крестили Аксиньей, а звали все Туркой. Православной веры сердцем Турка не приняла, под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой мерзла до трясушки. Турке, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя Турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала? Если у кого-нибудь скот хирел и подыхал, грешили на Турку как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба – за гибель скота могли и жизни лишить, – но Турка умерла третьими родами, истекла кровями. На следующий день преставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у Туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была – маленькие синюшные девочки размером с цыплят, суток не прожили.

В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода-племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно Косым кличут. Пришлые же, вроде Турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство.

После Турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, Туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к Туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий и ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш.

О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось Общество – местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной, и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку – тогда ей семь или десять годков было – посылали побираться, она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее, не успевала донести мачехе, тятю и младшей сестренке, которая уже от второй, русской, жены родилась. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно – точно щенок бродячей собаки.

Анфиса помнила деда Владимира: чернявый, как все Турки, худой, длинный – огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся!» – поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за семьдесят, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. «Мальки» с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись наутек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющееся принимавшая служение Владимира семье, нет-нет да и кривила рот: «Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал. И сжирал!»

Было это и осталось в туркинской породе: они признавали только те авторитеты, которые сами определили. И еще: в каждом человеке, сколь бы ни было безупречным его поведение, находили изъян, слабость, чувствовали потаенность какого-то давнего греха и смотрели на всякого с характерным туркинским прищуром – я-то знаю, от меня не укроешься.

Сибирь оказалась не такой уж страшной. Летом жара была не слабее тамбовской, а зима хоть и наступала рано, но держалась крепко, без оттепелей и слякоти. Зимой часто светило яркое солнце, и в безветренную погоду деревня с заснеженными домами, лес с вековыми соснами и елями выглядели сказочно. А самое главное – земли в Сибири было сколько хочешь, сколько сумеешь поднять и обработать. Староста распоряжался: «Бери от сосны до того места, где сорока летит». В России, на Тамбовщине, у многих и хлева-то не было, корову в избе доили, кур на крышу запускали кормиться соломой.

Крестьян определили на поселение в излучине Иртыша, на месте давно покинутого, вросшего в землю, обветшалого казачьего форпоста, названия которого никто не помнил. Деревенька же стала носить имя Погорелово. Версий происхождения названия насчитывалось три, потомки о них спорили, хотя на самом деле просто совпали несколько обстоятельств и каждая версия была правдивой. Во-первых, они были погорельцы. Во-вторых, расселились по горе, пусть и не высокой, густо заросшей лесом, и называлась она незамысловато – Гора. В-третьих, губернский чиновник Кузьма Митрофанович Погорелов сыграл столь значимую роль в судьбе тамбовцев, что увековечивание его памяти в названии – слабая плата за великие благодеяния.

Погорелов не был типичным царским столоначальником, то есть бездушным бюрократом, казнокрадом и кровососом. Он в чиновники попал из горных инженеров. Это совершенно особая каста отчаянных русских покорителей Урала и Сибири, бессребреники, которым хоть и полагалось потомственное дворянство, да мало кто им воспользовался. Семьями такие люди обзаводились редко, наследников не имели, надрывались в непосильном труде, усталость снимали известным способом – с помощью вина. Умирали, не перевалив и за сорок прожитых лет. У Погорелова не было правой руки, левой ноги и одного глаза. Вроде бы пострадал на аварии в шахте. Однако поговаривали, будто конечности ему отрубил и глаз выколол купец, с женой которого Погорелов путался. Но, если поразмыслить, купец-то совсем другую часть тела отсек бы греховоднику. Так или иначе, двадцатипятилетний чахоточный калека мириться с инвалидностью не хотел и на пенсию уходить не желал, добился, чтобы его пристроили на мелкую чиновничью должность в губернаторстве. И ему даже предоставили хлебное место – надзирать за переселенцами. Но благодетели сильно просчитались, понадеявшись получить со своего ставленника доход. Суматошный, крикливый, взрывной и заполошный Погорелов и не подумал набивать собственные и благодетельские карманы. Его главный «принцип» был таков: «Всё по закону государеву!» То есть что переселенцам положено, то вынь да положь. Вице-губернатору делалось дурно, когда в его кабинет врвался одноногий, кривой, немывтый и дурно пахнущий, в мятом грязном мундире Погорелов и с ходу начинал вопить про государевы указы, которые «всякая подлая виша под хвост себе норовит засунуть». Кузьма Митрофанович, отчаянный сквернослов, в присутствии начальства все-таки не матерился. Под единственной рукой у него был костыль, в пальцах – бумаги. Во гневе ему требовалось жестикулировать, тогда он зажимал бумаги зубами и размахивал костылем в воздухе. Бубнил при этом так, что речей было не понять, но становилось жутко. А еще случалось, его сотрясал неукротимый кашель. Потеряв равновесие, Погорелов падал на пол, корчился, прибежали коллежские асессоры, поднимали его, кровавая пена изо рта брызгала на документы... Вице-губернатор был согласен на все и даже на большее, только бы не видеть подобных представлений.

Кузьма Митрофанович с подопечными «томбашами» вовсе не церемонился и не относился к ним как добрая нянюшка к любимым дитяткам. Самым ласковым его обращением было «холопы безмозглые». Насквозь больной калека, он стрелял единственным глазом вслед каждой красивой бабе. Преставился от чахотки, успев обеспечить переселенцам надежный старт. Для казны это была мелочь, для крестьян – жизненная потребность. Семенной материал, скот, инструменты, оборудование для кузни, мельницы – все это позволило им уже на пятый год выбраться из землянок и начать возводить крепкие дома.

В нескольких поколениях погореловские бабы вставляли имя Кузьма в поминальные записки об упокоении. Многие уж и не знали, кто такой этот Кузьма, но бабушка и мама велели помянуть – знать, рай небесный этот человек заслужил.

Через десять лет от начала поселения в Погорелове возвели храм, и деревня стала селом – центром прихода. По любым меркам, это было очень скоро и говорило о том, что люди здесь обосновались всерьез и надолго, из тамбовских погорельцев они превратились в погореловцев-сибиряков.

Анфиса родилась в 1871 году, когда минули лихолетья поднятия целины и произошло расслоение на крепкие хозяйства, середнячков и голытьбу. Первичное расслоение происходило исключительно по деловым признакам. Работящие семьи со сметливыми хозяевами во главе рвали жилы и выбились в богачи; те же, кто не трудился на пределе возможностей или сметкой не обладал, по меркам среднерусской деревни были кулаками, а по сибирским стандартам – середнячками. Три коровы, пять лошадей – какое такое великое богатство? Лодыри и лишенцы – потерявшие кормильцев – составили низший слой, голытьбу. Последних было немного.

Анфисины детство и юность пришлись на время стремительного наращивания богатства, когда о тяжести первых сибирских лет остались только предания и каждый год приносил умножение достатка. Туркины считались одной из самых зажиточных семей в Погорелове, у отца Анфисы имелось три сотни голов скота и тысячи пудов хлеба в амбарах. В туркинском потомстве, за редким исключением, вроде нежизнеспособных близнецов, были крепкие, здоровые дети. Вырастали могучими, что парни, что девки, широкими в кости, сильными и до работы злыми. Все, как по шаблону, с густым непролазным черным волосом, с темно-кариими глазами и носатые. У расплодившихся потомков фамилии были разные, но Турок угадать можно было безошибочно. Басурманская кровь, смешавшись со славянской, давала устойчивые признаки, поглощая и растворяя новые вливания.

Всем женщинам-Туркам приписывали способности к ведовству, хотя ни одна из них ведовством никогда не занималась. Анфиса не была исключением. Она знала о лечебных травах не больше, чем любая другая деревенская женщина, приговоров-заговоров не сотворяла. Но при случае могла припугнуть враждующую соседку:

– Гляди, Манька! Плюну на твою корову!

И шла Манька на попятную, боясь, что останется корова яловой, то есть не беременной, корми ее задаром, или ногу подломит, или, хуже того, подхватит болезнь дурную, весь домашний скот перезаразит, в общее стадо их не допустят. С Фиской-Туркой лучше не связываться.

Однако славы бабы сглазливой Анфиса ой как не желала. Поэтому вела себя хитро. Сглаз, он же порча, как известно, – это похвала. Похвалила сглазливая баба ребятенка – он орет ночи напролет. Доброе слово девке сказала – у той ячмень на глазу вскочил. Анфиса не раз намекала, а то и прямо заявляла, что в ее воле сглазить, а захочет – полдня хвалить будет на большую пользу в дальнейшем.

Анфисе нравилась власть над людьми, льстило, когда ее боялись, то есть уважали. Но было нечто, чего страшилась сама Анфиса. Она обладала необъяснимым даром предчувствовать смерть или выздоровление больного человека. Посмотрит на хворого, рукой его погладит, и внутри голос зазвучит: «Не жилец!» или «Выкарабкается!». Это был даже не голос, а какое-то понятие, вдруг вспыхнувшее знание. Анфиса никому про свои прозрения не рассказывала, но все и так знали, что она кончину или исцеление видит. В селе такие способности не утаишь. Лечить Анфиса не любила. Все эти травки-муравки, притирки-растирки требовали кропотливости и внимательности. Анфиса же была масштабной натурой, с размахом. Большим хозяйством руководить – это для нее, тем паче что муж большей частью на отхожем промысле пребывает.

К Анфисе Ивановне обращались за помощью в безвыходном положении. Болеет взрослый или ребенок, а на дворе межпогодье: река не стала, зимнего пути нет, на дороге грязь по колено – не то что до земского врача в сорока верстах не доберешься, в соседнюю деревню к знахарке не доползти. И бежали к Анфисе, в ноги падали, умоляли. Она шла, хмурая и злая, потому что страшилась собственного дара, особенно если внутреннее знание плохой приговор вынесет. Суеверно боялась, что умирающий ее саму на тот свет утянет, как в воронку засосет. Она входила в дом, приближалась к беспмятному больному, брала его за руку, и если внутри вспыхивало: «Не жилец!» – тотчас уходила, бросив на прощанье:

– На все Божья воля.

Если же она чувствовала, что хворь отступит и человек поправится, мгновенно становилась добрее и мягче. Приступала к «лечению» – брызгала святой водой и читала молитвы, иных способов врачевания она не знала. Но что хорошо понимала – родных нужно занять, чтобы бегали, сутились, хлопотали, бездействие для них хуже пытки. А поскольку все известные приметы еще до прихода Анфисы были уже истолкованы, обряды выполнены, народные средства применены, Анфиса выдумывала новые. Она хорошо разбиралась в человеческой натуре и была не лишена своеобразного чувства юмора, если и имевшего отношение к смеху, то к недоброму, отчасти издевательскому.

Одной матери достаточно было сказать:

– Перебери овес, из самых крупных зерен кисель свари, по ложке дитятку давай. Только смотри, самые крупные зерна! Из мелких не поможет.

И сидела мать, мешок за мешком овес перебирала. Успокаивалась, верила – Анфиса ведь никогда не ошибается. Вон у Федора Лапотника спину колесом скрутило, ни сесть, ни встать не мог, на крик кричал от боли. Так Анфиса сказала, что ему надо душегрейку из собачьей шерсти связать и чтоб обязательно от дюжины собак шерсть была. Жена и дети Федора по всем дворам носились, кобелей вычесывали. Помогло!

К обычаям и обрядам в крестьянской среде относились как к непреложным законам, смысла которых понимать не требовалось, а исполнять следовало неукоснительно. И все-таки некоторые обычаи-ритуалы, привезенные из Центральной России, в Сибири упрощались, суживались.

Перед первым весенним выгоном скота тамбовская крестьянка поутру священнодействовала в хлеву с вербными веточками, сохранными с Вербного воскресенья. Бабушка Анфисы, простоволосая, босая, в нижней рубаше, закончив обряды в хлеву, выходила во двор, оседлывала палку и скакала на ней кругами. Потери единственной коровы-кормилицы или коня боялись больше чумы. Про чуму только слыхали, а голод всегда стоял на пороге. Но в Сибири скота было много. На дальних пастбищах у Анфисы более ста голов кормилось. До революции, конечно. Простоволосой по двору она не скакала, но в день первого выгона вместе с другими бабами приносила подарки лесным хозяевам. Шли в лесок за пастбищем, выбирали деревце, клали под него хлеб, сахар, завернутые в тряпицу, и приговаривали: «Вот вам гостинец, примите мою коровушку, напоите, накормите и вечером домой отправьте». Обратно в деревню следовало идти вприпрыжку, как бы изображая скачущее животное. К сорока годам Анфиса располнела, и рысью передвигаться ей было тяжело. Подскакивая, мысленно бранясь, думала: «Не иначе как эту иноходь придумала пересмешница вроде меня».

Приезжие удивлялись, что в Погорелове псины не кудлатые, а гладко расчесанные, точно девки молодые, которые с непокрытой головой бегают. А это по Анфисиному «рецепту» бабы впрок собачью шерсть заготавливали и между собой обменивались, чтобы набрать от многих кобелей. Крестьянская работа тяжела, спины надываются – без надежного лечения не обойтись. И никого не останавливало то, что сибиряки вслед за староверами прежде считали собаку грязным животным и шерстью ее «морговали» (брезговали).

С молодости Анфиса была грубоватой, неуклюжей, отчасти мужеподобной. Не певунья, и танцевала, как солому в глину утаптывала. Лицо красивое, но будто из твердого дерева вырезанное – прочно и навеки. Сказок, былин и быличек она не знала да и не любила, как не любила все непонятное, вроде нравоучительных притч – их мораль казалась Анфисе столь примитивной, что закрадывалась мысль, будто от ее понимания ускользнуло что-то важное. Словом, это была натура не поэтическая, женщина, твердо стоящая на земле. Единственной ее уступкой непонятному и недоступному – другому взгляду на мир – стал муж Еремей.

Еремей

Отец Еремея Медведева был из чалдонов – коренных сибиряков, чьи предки поселились за Уралом еще до похода Ермака. Как и отец, промышлявший охотой и рыбалкой, Еремей не жаловал крестьянского труда. Мать происходила из состоятельной семьи тамбовских переселенцев, но была хроменькой – в детстве упала, сломала ногу, кость срослась криво, и без палки мать не передвигалась. Незавидную невесту сосватали за чалдона – спасибо, что взял. Богатое приданое быстро проели, зверья и рыбы – добычи отца – хватало свести концы с концами. Подросткового Ерему мать загоняла на крестьянские работы палкой – била своей клюкой. Кроме Еремы-большака у матери еще трое по лавкам сидели, мал мала меньше. Ереме было восемь лет, когда отец не вернулся с охоты. «Медведь в лесу задрал», – так говорили о пропавших в тайге. Заботу о семье, потерявшей кормильца, взяли на себя дед с бабкой, мамины родители. Жить стали лучше, сытнее, но подневольно. Их не попрекали куском хлеба или обновками, хотя всегда давали понять – из милости живут. Это шло не от душевной черствости или жадности. Крестьянские дети должны с пеленок знать: всякий достаток и богатство приходят благодаря тяжелой работе. А если ты к работе ленив или сирота, то получаешь из милости. За милость надо быть благодарным. Неблагодарный человек хуже колодника. Ссылным каторжникам, которых гнали через село, оставляли за заборами еду и старую одежду. Те дрались за эту христианскую милостыню и никогда не благодарили.

Смышленный Ерема быстро научился читать и складывал в уме большие числа, умилял богомольную бабку тем, что мог за вечер выучить длиннющий псалом. Но работы, на которые привлекали детей (гусей пригнать, дрова сложить, воды скоту наносить), выполнял из-под материнской палки, норовил улизнуть. Сбежит в лес, найдет корягу, лишнее уберет, отполирует, и глядь – получился старичок с котомкой. Угольком на доске почиркает – вылитый петушок зарю горланит. Все эти таланты в предстоящей Еремею жизни (мать инвалидка и трое младших братьев-сестер, которых придется содержать, дед-то с бабкой не вечны) были бесполезны. Однако дед уступил просьбам десятилетнего внука и отпустил его учеником в плотницкую артель. За это мудрое решение Ерема навсегда остался благодарен деду. Больше, чем за хлеб-соль для сиротинушек.

Первые годы в артели были тяжелы. Сибирское лето коротко – чтобы с подрядами справиться, трудиться надо от утренних сумерек до вечерних, на сон пять часов приходится, не больше. Мужики в артели не мать родная. Та хоть и кричит, но любя, и палкой лупит понарошку, не больно. А мастер или любой из плотников-столяров за малейшую задержку двинет по башке – на три метра улетишь. Покалечить не покалечат, но весь в синяках будешь. Ничему Еремею специально не учили, азов не объясняли. Умный – сам скумекает. Глупый – так и останется на «дай-принеси». В артели те парни, что на побегушках, особо придиричивы и дерутся больно. Ерема был умный и упрямый, главное – рукастый. Мастер это заметил, около себя ставил, запретил уж очень сильно и часто ученика пинками воспитывать. С тринадцати лет Ерема помогал резчику по дереву, потому что без лекал помнил узор наличников. В пятнадцать ему вздумалось сочинять свои мотивы, за что он был сначала жестоко порот – «не тебе, сопляку, вековечное мастерство поганить», – а потом мастер его придумки ловко вплел в свою работу. Заказчикам ведь всегда хочется противоположного: и чтоб как у людей, и чтоб лучше.

Кроме дерева, породы которого, их плоть и душу чувствовал тонко, Еремей любил всяческие механизмы. Его завораживало устройство часов, швейных машин, не говоря уж о сеялках и валяльных станках. Он подсмотрел в одной деревне у переселенцев-хохлов устройство ткацкого станка, позволявшего ткать полотно тонкой и прочной выделки, зимой сделал такой же матери. Она вначале руками махала – не хочу, не буду, глупости все это! За станок села и учиться принялась от стыда: кто в дом зайдет, увидит сына-большака за станком

– засмеет. Потом десятки раз вслух и мысленно благодарила Еремея, когда за ее полотном очередь выстроилась. При ее хромоте сидячая работа была спасительным облегчением. Бабы-соседки с поклоном приходили: не построит ли для них Ерема такой же станок? Опять-таки уважение, редкое по ее вдовому состоянию.

Ерема еще два станка сделал, а потом охладел:

– Пусть сами мастерят, образец перед глазами.

Это он про деревенских мужиков говорил. И никакие посулы, привлекательные цены не могли заставить Еремея переменить решение. Если он к чему-то терял интерес, то необратимо. Снова вернуться к пройденному соглашался, только когда это пройденное можно было изменить кардинально, неожиданно.

Во время зимнего домашнего пребывания его часто звали чинить маслобойку, или молотильную машину, или амбарный замок, приносили запаять сломавшиеся сережки или треснувший оклад иконы. В Еремее признавали умельца, но никто не видел в нем выдающейся личности. У Еремы Медведева был серьезный недостаток – оторванность от земли, с малолетства пребывание на отхожем промысле. Кроме того, в селе любой справный мужик – на все руки мастер. Иными словами, каждый все умеет, но что-то умеет лучше других. Игнат в конской сбруе сметлив – подлатает, новую покупать не надо. Петр зимние сани, которые набок заваливаются, в одном месте подстрогает, в другом подобьет – птицей летят по снегу. Зинку приглашают, когда для особых гостей караваи пекут, у нее на опару рука легкая, а у Татьяны – на посадку рассады овощей. Мать Анфисы могла точно предсказать, околеет заболевшая скотина или выздоровеет, забивать или погодить. Анфиса потом с людьми то же самое умела, но и ту и другую просить – наплачешься, только в крайности придут.

Летом 1888 года Еремей находился дома, потому что ранил руку и она загноилась. Из артели не отпустили бы – и с одной рукой найдется занятие, но тут бабушка преставилась. Дед, за которым никогда не замечали особой любви к жене, вдруг лицом перекосялся, и нога у него отнялась. Стал точно ребенок плаксивый, все искал и звал бабушку. Шкандыбал с клюкой на пару с матерью, у которой опухли и сильно болели суставы. Дядя и тетки Еремы уже присматривались-примеривались к разделу родительского наследства. Мать написала слезное письмо Ереме, а следом его мастеру: пусть сыночек приезжает, без большака ее семейству, деткам-сироткам полная погибель. Ерему отпустили.

Сушь в то лето стояла небывалая, дождей с начала мая не было. На заливных лугах обычно к первому покосу сочная трава выше колена поднималась, ей хватало влаги в напитавшейся водой земле. Но солнце, палившее как перед концом света, сожгло зелены. Первого покоса не случилось, во второй обязательно нужно было убрать и сохранить чахлую траву, иначе скот погибнет. Стало ясно, что потребуется перестроить привычный календарь работ, что, как только ляжет первый снег и скот уйдет с подножного корма, начнется массовый убой. Нужно было рассчитать количество корма на число скота, который следует оставить, выбрать из него самый продуктивный, договориться с купцами заранее о цене на убой, продать прошлогодние излишки зерна по выгодной цене, потому что в России тоже засуха, оставить семенной фонд и запас, а сбывать его уже по небывалой цене ранней весной.

В любые времена есть малое число удачников, которые после кризиса становятся богаче, и большое число неудачников, которые становятся беднее. Зависит от умения думать, считать, соображать.

– Сображай! – тыкала мать клюкой в Ерему. – Кроме тебя некому. Я с детишками при батюшке отдельным домом, но сестры с братьями уже наобстроились. Всё заберут, подметут, а мы опять в приживальщиках. Ерема! Христом Богом умоляю! Не дай нам худой доли!

– Что вы, мамаша, лишнее говорите?

– Лишнее? Вот смотри! – Она задрала подол и показала свою ногу – уродливо кривую, с пухлыми красными суставами, со вздувшимися синими венами. – Как болит, только я знаю. Даже Бог не знает, иначе не допустил бы таких страданий. Все ради вас, ради детишек!

– Я-то при чем? – глядел в сторону пораженный Ерема. – Я что могу?

– Дедушка тебя наследником признает. Дедушка скажет, при всех скажет, я его подговорю. Но тут, Ерема, или пан или пропал, как ты распорядиться сумеешь. Зима идет!

Ерема невольно посмотрел в окно. Во дворе было пекло. Куры, точно дохлые, валялись в тени, сомлевшие дворовые собаки, как подстреленные зайцы, лежали кверху пузом, раздвинув лапы.

На сенокос выходила вся деревня, от мала до стара, дома оставались только немощные, кто не мог передвигаться. Траву сбривали в негодьях, в перелесках – везде, где можно было найти хоть клочок. Работать под палящим солнцем было до одурения тяжело: перед глазами плыло, тело саднило; одежду, пропитавшуюся соленым потом и задубевшую, прокусывали оводы и слепни, тучей кружившие вокруг косарей. А молодым-холостым что жара, что стужа – все нипочем. После работы водили хороводы до утренней зари. Костров не разжигали: за открытый огонь могли не просто на казенный суд – к исправнику – отправить, а выгнать с позором из села. Разойдутся после гулянки, пару часов прикорнут и снова на покос. В обед, перекусив, замертво падали, спали в тенечках крепко, пинками только разбудишь, когда снова на поле выходить.

В тот день были «помочи» – по решению общины заготавливали сено для лишенцев, семей, не имевших кормильцев. Обычно женщины-вдовы за сено батрачили, но в этот год никто сеном расплачиваться не станет, весной оно будет на вес золота. Расплачиваться не стали бы, а выйти на помочи – святое дело. Еремей, временно однорукий, трудился вместе с женщинами и девушками, ворошившими сено. В послеобеденный отдых Еремей оказался рядом с Анфисой – в чахлой тени березок, на которых от жары высохли и скрутились листья.

Анфиса, набросившая на лицо сетошник – редкого плетения холстину для защиты от комаров и мошек, – плавно погружалась в блаженный сон, когда услышала:

– Красиво!

Она сдвинула с глаза сетошник. Рядом лежал Еремей Медведев и глядел в небо.

– Чего красиво? – спросила Анфиса.

– Небо и облака.

Он лежал на спине, помахивал веточкой, отгоняя гнус и глядя с восхищением прямо перед собой.

Анфиса этим летом часто смотрела на небо – не появится ли долгожданное грозное облако, не прольется ли дождь. Но что красивое можно увидеть на небе? Оно же всегда над тобой. Красивыми бывают наряды, украшения, свадебные караваны, украшенные резьбой прялки – словом, то, что сотворено человеком. А небо выбеленной голубизны, по которому плывут редкие белые облачка? Ничего особенного.

«Дурак!» – хотела сказать Анфиса, но почему-то только фыркнула:

– Чего там красивого?

– Облака – как заготовка для лепнины. Я в городе видел лепнину на домах, из материала гипса. Красиво. Вот бы взять облако и сделать из него колонну или балясину или посадить на крышу...

– Дурак! Кто же облако достанет?

– Никто, – вздохнул Еремей. – Это я просто так, мечтательно.

Анфиса повернулась на другой бок, но сон пропал. Было почему-то тревожно, непонятно. Анфиса не любила непоняток. Еремей, конечно, с придурью, как все мастеровые, которые на отхожем промысле, испорченные отлучкой от дома и от крестьянской работы. Но какое ей дело

до Еремея или облаков? Мало ли на свете умалишенных, которые на небо смотрят и улыбаются блаженно? Однако непривычное теснение в груди не проходило, Анфиса снова развернулась к Еремею:

– Ты чего не спишь? Думаешь, как до облаков допрыгнуть?

– Они еще похожи на пирожны. Это как пряники. Я в Омске видел в хлебной лавке. Пирожны походят на твердые облачка, точно эти, – ткнул он в небо, – снизу подбиты, плоские, а сверху кудрятся, только цветом не снежные, побурее. Я приказчика спросил, он сказал, делается из яичных белков, сбитых в пену, потом сахар, до муки толченный, прибавляется, и все в печи обжигается. Вкусно, наверное.

Мужику говорить остряне стыдно. Мужики не входят в куть – закуток у печи, где готовится еда, – там хозяйничают только женщины. А Ерема, не краснея, рассказывает, как чудо-пряники делаются. Анфиса собралась сказать, что думает о мужиках, которые в казаны нос суют, но не успела.

Еремей поднялся:

– Жарко, пойду искупаюсь.

– Ты это... – замялась Анфиса, – руку не мочи.

– Не буду, – улыбнулся Еремей.

Просто улыбнулся – как всякому, а не лично Анфисе, которая привыкла к улыбка-похвале, к восхищению.

Анфиса твердо знала, что она первая красавица, что, помани она парня, тот побежит как наскипидаренный. Уже три раза к ней сваты приходили. Один ссыльный дядечка из благородных даже назвал Анфису царь-девицей. А тут про облака-лепнину-пряники Ерема говорил будто сам с собой, а не чтоб на нее впечатление произвести. Она к нему с вопросами, то есть с интересом – должен был хвост распушить, а он купаться ушел. Анфису невнимание Еремея задело, но он был все-таки не единственным, на кого ее чары не действовали, и уж никак не выгодной партией.

Вечером солдаты и вдовы, которым заготавливали сено, по обычаю накрыли благодарственное угощение. На поляне расстелили холсты, расставили закуски, бутылки с наливкой для баб и самогон для мужиков. Анфиса подгадала как бы невзначай оказаться рядом с Еремеем. Он держался просто и с Анфисой, и с беременной бабой, что сидела по другую сторону от него, разговаривал одинаково вежливо. То есть, никак не оценил счастья находиться рядом с самой завидной сельской невестой.

Отступив от своего правила не выказывать первой интереса, Анфиса спросила Еремея:

– Хороводить придешь?

Это замаскированное приглашение было высшим комплиментом, на который когда-либо расщедривалась Анфиса. Но Еремей ответил на вопрос прямо и коротко:

– Недосуг.

Анфиса вспыхнула, беременная баба захихикала, а Еремей, не заметив своей бестактности, продолжал жевать пирог с рыбой.

Оскорбленная Анфиса решила выкинуть его из головы – подумаешь, нашелся королевич! Обглодыш! Чтоб его клеймило! Однако от мыслей о Ереме избавиться не получалось, крепко зазнобил ее мастеровой мечтатель. Анфиса жила как в чаду, но и в хитрости: караулила Ерему, чтобы невзначай с ним встретиться, прокладывала маршруты мимо его дома, на вечерках и гульбищах вертела головой – не покажется ли мучитель ее души. Не показывался. Любовь принесла Анфисе не радость и веселье, а сердечную тоску и страдание. Долго страдать она не умела, да еще и перспектива пугала: уедет Еремей в артель, а она что же? С тоски чахнуть будет?

Пришла как-то поздно ночью после гулянки злая и решительная, растолкала спящих родителей, огорошила:

– Замуж хочу! Пусть Еремей Медведев меня сватает.

Мать с отцом спросонья хлопали глазами. До них не сразу дошла возмутительность Анфисиного требования.

Женили молодых, когда приходил срок. Почти как сводили скотину – по беспокойному поведению коровы, овцы, свиньи или козы точно видно, когда ее следует покрывать. То есть, наблюдали за самками, а племенные самцы были вечно наготове. С молодежью наоборот. Чудит парень, озорничает, к солдаткам бегаёт – пора женить. А девка не корова, которая десять – двенадцать часов расположена к быку, а потом лягается. Девка никуда не денется, девку не спрашивают, когда ей замуж хочется, могут и в двенадцать лет, от кукол оторвав, про-сватать, коли есть выгода. Хотя, конечно, если девка долго томится, может в подоле принести. При всех вариантах самой девке замуж проситься и мужа выбрать – неприлично.

Анфиса была дочкой незаласканной, но балованной. Заласканная – ленивая, а Анфиса трудилась до седьмого пота. Однако требовала, чтоб у нее были самые лучшие украшения, одежда, обувь. И не домодельные, а обязательно фабричные, городские. Даже на работы Анфиса поверх рубахи надевала не паневу, телогрею или душегрею, а «парочку» – юбку с коф-той. Если Анфисе чего-то хотелось (новую блузку из тафты, с застежкой под горло на жем-чужных пуговичках и с воздушными петельками), то родителям было проще удовлетворить ее желание, чем терпеть в доме злую Анфису, чья властность постепенно набирала силу, и уж кроме батюшки никто ей слова поперек не мог молвить.

Мать с отцом поначалу испугались: вдруг девка не убереглась – тяжелая, на сносях? Но Анфиса только фыркнула в ответ на подобные домыслы. Тогда ей стали пенять, что, мол, стыдно девушке замуж проситься.

– Языком не мелите, и никто не прознает, – ответила Анфиса.

Ей справедливо указывали на то, что Еремей Медведев – партия незавидная. Мастер-то он, конечно, мастер, без куса хлеба не останется, но его приработки ненадежные. Распла-чиваются с мастером продуктами, скотиной, полотном или деньгами. Чтобы хорошо распла-тились, надо иметь понятие и сметку. Отсыпят тебе сто пудов зерна, а оно порченное; скотину пригонят, а она хвора. Деньги, понятно, большую силу имеют, но все-таки бумажки, в рот их не положишь. Полные закрома, своими руками обеспеченный достаток – надежнее. Мастер дома почти не живет, а хозяйство держится, только если твердой рукой управляется.

– Не дури! – подвел итог батюшка, полагая, что убедил дочь. – Ишь, вылупилась само-свах! Найдем тебе справно жениха.

– Мне, окромя Еремея, другой не нужен. Не просватаете за него – сбегу или утоплюсь!

По решительному виду Анфисы было понятно – сбежит или утопится. Эту девку не оста-новишь, коль вожжа под хвост попала. Анфисе в тот момент и самой казалось, что ради Еремея она способна на любой подвиг. Хотя интерес к странствиям ее никогда не посещал и мир за околицей деревни не очень-то интересовал. Утопиться она никогда бы не осмелилась – вода в Иртыше холодная, да и глубины Анфиса боялась. Но выглядела дочка и правда решительно.

Родителям ничего не оставалось, как подчиниться ее капризу. Хромой Медведех через третьих лиц дали понять, что если ее сын посватает Анфису, то получит согласие. Мать Еремея была на седьмом небе от нежданного счастья. И сам Еремей понимал, что жениться надо. Если у него будет своя семья, дедушкино наследство станет законным – одно дело отписывать иму-щество холостому внуку, иное – молодоженам. Больной матери нужна помощь; деду, младшим сестрам и брату – пригляд. Но остаться в деревне, крестьянствовать Еремей не желал.

Он уже познал соитие с женщинами. Первый опыт, когда артельщики повели его к веселым, то есть продажным, бабам, вызвал только рвотные ощущения: вонючие пьяные тетки, годившиеся ему в матери, беспамятные, пускавшие слюни и извергавшие ветры... Еремей хотел было наплевать на возможные насмешки артельщиков и навсегда отказаться от посещения веселых баб. Но однажды его прошибла жалость к одной из лишенек. Потасканная, со следами бывшей красоты на опухшем от пьянства лице, с неизвестно от кого прижитыми уродливыми детьми, покрытыми коростой золотухи, она топила свою горькую долю в вине, губила жизнь яростно и отчаянно. Еремей неожиданно испытал к ней сильное влечение, потерял голову, не замечал ни вони, ни грязи. Потом повторялось: разберет жалость – и мужицкая сила просыпается. Еремей внутренне мучился: «Что ж я? Крокодил паскудный?» (Один подрядчик как-то ругался: «Я вам не крокодил зареванный»). Еремей потом выяснил у подрядчика про крокодила: животное в заморских странах, вроде Змея Горыныча из бабушкиных сказок. Когда крокодил крокодилицу покрывает, плачет от жалости.)

Это внутреннее бичевание было в ряду многих других мучений, которые, всегда тайно для окружающих, терзали Еремея. Он страдал, потому что не мог воплотить свой замысел в дереве, потому что материал капризничал, не поддавался, не раскрывал своих секретов; страдал, потому что не мог разгадать задачи некоторых маленьких деталей в часовом механизме; он хотел бы писать картины, но не ведал секретов того, как закрепляются краски на холстине; он восхищался природой, мечтал ее перешеголять и подозревал, что этого никогда не получится. Тайные демоны сомнений, борений и несбыточных желаний никогда не покидали Еремея. И не было человека, которому он мог рассказать про этих демонов. Из-за внутренних борений Еремей часто выглядел вялым, примороженным, безразличным к тому простому и земному, что составляло интерес жизни других людей.

Анфиса в качестве жены была не хуже и не лучше других девушек – ко всем Еремей был одинаково равнодушен. Но ему было приятно услужить матери, которую перспектива породниться с Турками буквально вылечила – даже ноги стали меньше болеть. Такой радостной мать Ерема никогда не видел. Пусть потешится старушка.

Чтобы не оскандалиться в постели с молодой женой, Еремею нужно было за что-то ее пожалеть. Однако царь-девица Анфиса никак не вызывала жалости. Еремей и так и сяк кумекал: мысленно называл невесту заводной деревянной куклой, которой, бедняжке, недоступна красота Божьего мира, – не выходило, не возникало желания взять Анфису. До последнего боялся, что опозорится. Только после застолья, когда их проводили на брачное ложе, когда увидел испуганные глаза жены, ее руки, стиснувшие ворот сорочки на груди, расслабился: получится!

Анфиса не поняла его слов: «Эх ты, милая моя крокодилица!»

Муж и потом повторял про крокодилицу, перед тем как начать пихаться. Анфиса допытывалась, про кого это он. Еремей уходил от ответа.

На словах Анфиса сотню раз прокляла свое замужество и супруга, которого вечно дома не было, а все хозяйство на ней. Но в сердце никогда не жалела о своем выборе. Малохолный Еремей, бесчувственный к важным событиям, вроде пожара в сеннике, чуть не погубившего все хозяйство, и не по-мужицки распустивший слезы, когда умерли дочери-близнецы, не заботящийся о достатке, но способный три часа разглядывать ветку папоротника, остался для Анфисы загадкой, таинством, близким и одновременно далеким созданием, которое она не умела понять и тайно признавала это свое неумение, и дорожила им больше, чем собственным счастьем. Анфиса всегда поддерживала у окружающих мнение о том, что супруг любит и жалеет ее. Обновками и гостинцами, которые он привозил по ее списку, хвасталась перед соседками. И врала, что муж регулярно бьет ее.

Ерема никогда не поднимал руку на жену, хотя ее упреки и наставления досаждали ему подчас отчаянно. Сыновей он наказывал, когда уж набедокурили так, что ни в какие ворота, дочери-шалунье мог погрозить пальцем.

По деревенским представлениям, если муж не бьет жену – стало быть, не любит ее, без внимания оставляет. При этом мужики-изверги, часто колотившие, увечившие супружниц, вызывали осуждение, которое было связано не только с жалостью к бабе – злобный муж всем недоуж, то есть вспыльчивому человеку, распускающему кулаки по любому поводу, нет доверия ни в чем. Староста наказывал буяна денежным штрафом или работами. С другой стороны, те, кто вовсе «не воспитывал» жену, особенно в первые годы брака, уважением тоже не пользовались. Воспитание сводилось к наказанию за малейший проступок. Хлеб в печи подгорел, на пашню баба припозднилась, ребенок кричит как прищемленный – за все молодуха получит. А если ее не наказывать, возьмет волю, станет голос подавать – блажить шумно, до крика, или нудняво, докучливо. Испортится натура у бабы, потом не исправишь себе же на горе.

Именно так и случилось с Анфисой. Но как она ни доводила мужа, как ни провоцировала отходить ее вожжами, оттащить за косы, Ерема не поддавался.

– Заткнись, – просил он. – Ты ж не скотина, что только палки боится, а человек водушевленный.

– Сам ты водушевленный! – кипятилась Анфиса. – Ловко устроился, от хозяйства отвернулся, дома гостишь, на стороне прохлаждаешься. Я тебе третий день толкую – венцы у колодца сгнили, не сегодня-завтра обвалится колодец. А ты что? Вот что ты, Еремей Николаевич, до обеда делал? Веточки рассматривал! Чего их рассматривать? В лесу их видимо-невидимо!

– Рассматривал, как листочки к ветке крепятся.

– Дурак блаженный! – заходила от возмущения Анфиса. – Это кому сказать! Это засмеют!

– Хоть и говори, – отмахивался Еремей, – мне без волнения.

В отличие от жены Еремей был равнодушен к мнению окружающих. Его собственный внутренний мир был столь велик, противоречив, мучителен, что в мире внешнем его трогало лишь то, что каким-то образом задевало реалии мира внутреннего. Анфиса ставила себе в заслугу, что мытьем и катаньем заставляла-таки мужа отремонтировать, перестроить дом и хозяйственные постройки.

– По твоему владению, – говорила она, – люди судят, что ты за мастер. Хорош плотник, у которого баня сгнила и хата покосилась.

Но не настырность жены, а возникшее желание выстроить идеальную усадьбу подвигло Еремею взяться за дело. Да и надо было чем-то заниматься во время домашнего пребывания – не вникать же в мелочные, однообразные, тупые, повторяющиеся хозяйственные проблемы. С ними Анфиса прекрасно справлялась. Начни Ерема помогать, жена мгновенно превратит его в неразумного подмастерья, будет учить, попрекать в доброте, в непрактичности – словом, сядет на шею и поскачет с гиканьем. А пока же ей на мужнину шею никак не забраться – соскальзывает.

Дом

От деда Ереме достался дом-крестовик на подклете из выдержанных бревен лиственницы тридцати с лишним сантиметров в диаметре. Сруб, разделенный двумя пересекающимися капитальными стенами (поэтому «крестовик»), с подклетом, в котором находились погреб и хранилище овощей, стал основой нового дома, неузнаваемо перестроенного. Ерема присоединил по две комнаты с каждой стороны, и с фасада теперь на улицу смотрели четырнадцать больших окон, простенки между которыми были уже самих окон. Про сибиряков говорили, что у них повышенная любовь к солнцу и свету. Это точно про Ерему. Окна были с двойными стеклянными рамами, со створками для летнего проветривания и с желобками для стока талой воды. Дом без ставен – что человек без глаз. И «глаза» Ереминого дома в обрамлении массивных наличников с вырезью были чудно хороши. Они перекликались с резным карнизом по фронтому, с галерейкой с точеными балясинами над окнами, балкончиком и перилцами. Со стороны двора Ерема добавил большие сени во всю стену и крыльцо на бревенчатом подрубке с пятью ступенями, перилами и балясинами. В подклете теперь были комнаты для работников.

Двор делился на чистый, передний, и грязный – задний, скотский. Оба двора Ерема застелил по земле тесаными бревнами и плахами во всю площадь, хотя обычно хозяева ограничивались проходами-дорожками от ворот до крыльца и до амбара. На подворье у Анфисы всегда был порядок, ее справедливо называли «обиходка» – чистоplotная женщина.

На переднем дворе по периметру располагались постройки. Амбары (по-сибирски – «анбары») стояли на вертикальных столбах, для поддува и защиты от мышей. В одном анбаре хранилось зерно в специально оборудованных сусеках. Анфиса годами не видела дна своих сусеков, потому что урожаи были отменными и всегда делался расчет на неблагоприятный год. В других анбарах стояли лари для муки и круп, мешки с льносеменем, деревянные кадки, выделанная кожа, холсты, сундуки с одеждой для себя и для работников и многое, многое другое, необходимое для автономной, закрытой жизни, какую по большей части и вели сибиряки.

Свою мастерскую Ерема сделал просторной и светлой. К ней примыкали навесы для хранения теснин, бревен и другого материала. Далее следовали невеликие сапожная, пимокатная (где делали, «катали», зимнюю обувь – пимы) и бондарная мастерские. Эти ремесла Ерема не любил, ими занимались нанятые работники. Рядом с домом находилась летняя кузь (кухня), в которой грели воду в больших объемах на пойло животным, варили скотское хлебо. Погреба под домом не хватало: Анфиса всегда хранила припасов как на полк или на пять неурожайных годов. Поэтому был построен, точнее – выкопан, дополнительный погреб со входом из летней кузи. Дом стоял на хорошем месте, и отводить грунтовые воды большой заботы не составляло. К завозне – помещению с большими воротами, где хранились сани, телеги, лошадиная упряжь, – подводил широкий настил для въезда. Никому не приходило в голову украшать ворота завозни или скотского пригона, а Ерема даже их с обводкой пропильной резьбы сделал.

Баню испокон веку строили у реки и топили по-черному, считая ее «более паркой». Банную утварь никогда не использовали в доме, потому что известно – нечисть, вроде леших и ведьмаков, любит в бане тешиться, пока хозяев нет. Ерема баню устроил между передним и задним дворами, как пряничный домик оформил. Вода грелась не в бочке, в которую бросали горячие камни, а в железном коробе внутри печки. На чердаке бани стояли два чана с водой, хитро по трубам циркулировавшей в печку и обратно. Анфиса поначалу яростно ругалась на поправление устоев: баня во дворе – это стыд и привлечение к дому темных сил. Но Ерема знай себе строил и строил, отмахиваясь от ее угроз схватить топор и к такой-то матушке порушить грешное творение. Но потом Анфиса оценила удобство. Баню топили если не каждый день, то через день. Анфиса сама любила париться, считала, что баня возвращает силы, не терпела козлиного духа от работников и вонючих за стол не пускала. По установке хозяйки один из

работников никогда не отлучался со двора, следил за печами, любым открытым огнем, содержал в порядке противопожарный инвентарь – ларь с песком, бочки с водой. Страшнее пожара, способного превратить семью в нищих лишенцев, ничего не было.

На заднем дворе находились конюшня, стаи для скота, овин, рига для сушки снопов, молотильня и другие рабочие помещения. Зимой оба двора были защищены от непогоды: их покрывали жердинами, опирающимися на вертикальные столбы с развилками. Сверху бросали сено, которое постепенно уходило на корм скоту. Столбы-опоры Ерема тоже украсил – сделал в виде толстых витых веревок. Он не терпел художественно не оформленных долговечных предметов, на которые постоянно натывается взгляд. Даже если их не видят посторонние люди, предметы должны радовать глаз.

Внутри дома, поддавшись моде, Еремей оштукатурил и покрасил спальные комнаты, но не одноцветно, а с рисунком под разные трафареты. В одной из комнат даже решил собственную живопись на стенах вывести. Не получилось. То есть, по его разумению не получилось. Анфиса, когда увидела жар-птиц и длинномордых зубастых змей (крокодилов с крокодилицами, по Ереминой задумке) в буйно зеленом лесу сказочных деревьев, задыхнулась от тщеславия – такого ни у кого нет! Однако Еремея его работа разочаровала – все соскоблил, заново оштукатурил, покрасил розовым, по потолку пустил голубой орнамент.

В горнице хозяин от модностей отказался, покрыл стены досками «красного леса» – смолистой сосны, долго выдержанной в специальных условиях. Она перестала «плакать» смолой, была отполирована до зеркальной гладкости и, когда в окна било солнце, хрустально светилась, играла. «Где такой кедр раздобыл?» – удивлялись гости.

Зажиточные крестьяне мебель старались покупать городскую – гнутые стулья, кровати с металлическими шпичками, шкафы для посуды, кованые сундуки. Особая гордость – музыкальный замок на сундуке. Еремей всю мебель сделал сам: кровати с высокими резными изголовьем и изножьем, буфет на три отделения, украшенный орнаментом в виде папоротниковых листьев, опоясывающих диковинный фрукт виноград (все принимали его за россыпь клюквы), лавки со спинками в виде борющихся змей и орлов, сундуки.

Анфиса своими сундуками гордилась. Массивные и объемные, благодаря ажурной резьбе они выглядели легкими, как шкатулки. Их никогда не закрывали накидками. Еремей же, в очередной раз приехав домой и глядя на свое произведение, сказал, что сундуки похожи на кладбищенские тумбы. Он бы их выкинул или отдал кому-нибудь, но Анфиса насмерть встала, не позволила вынести из дома такую красоту. Еремей ограничился тем, что приладил на сундуки музыкальные замки. Всю зиму ковырялся, чтобы научить замки разным мелодиям.

Постройка усадьбы имела начало, но конца у нее не было. Еремей не торопился и работал в охотку, а без охотки мог неделями не брать в руки инструмента. Анфиса жила в обстановке вечного ремонта. Для Еремея стройка была творчеством, он чувствовал себя создателем вроде Отца Природы, который постепенно выращивает цветок, листочек за листочком, лепесток за лепестком. Если что-то получается плохо, Отец забраковывает создание, цветок засыхает, гибнет, не дав семян, а на следующий год появляется росток нового. Анфисе подобные выкрутасы были недоступны и противны. Взялся строить – построй, а не переделывай то, что надежно и прочно. «Некрасиво? Кто сказал? Тебе так кажется? Перекрестись и работай дальше. Да не над воротами анбара! Кому их видно? Не ломай, ирод! Тьфу! До смерти моей не закончишь...»

С другой стороны, Анфиса гордилась тем, что на ее дом бегали смотреть как на диковинку, что проходившие замедляли шаг, любясь, что исправник и другое городское начальство предпочитало ночевать в ее доме, а не у старосты, что ссыльный художник устраивался за воротами на скамеечке и зарисовывал ее дом, баню. Поначалу Анфиса гнала художника, суеверно боясь, что бородатый парень в бабьей поддевке сглазит хозяйство. Но художник пообещал написать ее портрет и обещание выполнил. Рисовал он масляными красками на холстине,

натянутой на раму. Сходство уловить художнику не шибко удалось, возможно, потому, что позировать Анфисе было непривычно, высидеть на одном месте несколько часов у нее терпения не хватало. Но портретом она осталась довольна – фигура получилась строгая и солидная. Еремей очень сокрушался, что не удалось пообщаться с художником – того погнали дальше по этапу, когда Еремей был еще в летнем отходе. Для портрета Еремей сделал резную раму, повесили его напротив зеркала, которое тоже было оформлено в багет. Анфиса чуть не лопалась от гордости – теперь у них как в благородных боярских домах. Еремей посмеивался, тыкая пальцем в портрет, в его отражение в зеркале и в жену:

– Везде ты. Кругорядь Турка.

Сыновья помогали отцу в строительстве, но по приказу. Особого рвения к столярству и резьбе не выказывали, талантов отцовских не унаследовали. Из всех детей только у маленькой Нюрани проглядывался художественный интерес. Она могла часами сидеть, наблюдая за инструментом в руках отца, радостно хлопала в ладошки, когда из дощечки рождалось деревянное кружево. Но тут Анфису подстерегала другая напасть.

Анфиса за косы драла дочь:

– Не смей отца ни о чем просить! Не отвлекай!

Но науку девочка долго не помнила, ластилась к Ереме:

– Тятя, сделай куколку! И кроватку для нее, и шафонецчик, и столик с лавочками!

Еремей бросал работу и занимался глупостями – вырезал игрушки. Когда Нюране было пять лет, на месяц отложил дела, хотя баня была не покрыта тесом, а дожди уже начались. Ерема построил для дочери маленькую, размером в три собачьих будки, избушку с детской мебелью. Избенка, конечно, вышла загляденье. Но какой от нее толк? Одно баловство, потакание дочкиным капризам.

Однажды Ерема привез детям гостинец – настоящие пахучие яблоко и грушу. Фрукты эти сибиряки видели только на картинках в книгах, да еще бабушка Анфисина рассказывала про сады на Тамбовщине. Анфиса съесть яблоко и грушу детям не позволила, хотя дочка рыдала, а муж злился. Фруктами Анфиса перед соседями хвасталась, пока яблоко не ссохлось, точно кизяк, а груша не сгнила.

Так они и жили, во многом не совпадая: Ерема считал, что все надо попробовать, на себе испытать, самому знание, удовольствие или разочарование получить, а для Анфисы главным было сохранить лицо перед окружающими, пустить им пыль в глаза, удержать первенство в негласном соперничестве деревенских баб. Ерема трудился под настроение, а у Анфисы поблажек не было – рожала, нянчила детей, вела большое хозяйство, хоронила Ереминых деда и мать, поднимала его братьев и сестру, женила и выдавала их замуж. Она не знала отдыха, покоя в мыслях.

Анфиса не была склонна к сожалениям о прошлом и в будущее смотрела без страха. Все эти бабы «кабы по-другому сложилось...» или «а ежели не ровен час...» терпеть не могла. Прошлого не изменишь, а про будущее только Богу известно. Она походила на человека с абсолютным слухом, который не поет и не музицирует, но невольно кривится, когда кто-то фальшивит. Потому что у нее случались предчувствия. Редкие, они ни разу не обманули. Связаны были со смертью – родителей, брата и сестры. Это не было то знание, которое возникало, когда она касалась болеющего человека. Родители накануне смерти никаких тревог не внушали; с братом, который утонул в реке, и с сестрой, заболевшей грудной сухоткой, Анфиса несколько лет не разговаривала, считала, что ее обошли при разделе наследства. Предчувствие возникало неукротимо, как тошнота, и никогда не было конкретным – с каким именно человеком случится беда.

Осенью 1914 года Анфиса как-то проснулась с ощущением страшной потери. Думала, сон плохой приснился, тут же забылся, только эхо от него осталось, сейчас растает. Но ощущение не проходило, крепло. Это было оно, проклятое предчувствие. А вскоре долетела весть, что война с германцем началась и объявлена мобилизация.

Анфиса очень боялась потерять большака Степана. Она бы руки дала себе отрубить, глаза выколоть, только бы сохранить жизнь любимцу и продолжателю рода Степушке. Анфиса уговорила чалдона-промысловика, который еще Ереминого отца помнил, взять Степана в артель, увести в тайгу, чтобы носа в деревню не казал, пока она сигнал не даст.

Двадцатилетний Степан, конечно, хорониться не желал и рвался на войну. И Анфиса, неслезливая, гордая, суровая мать, упала в рыданиях перед сыном на колени. Голосила, била головой об пол, ногтями царапала лицо. На ее крики прибежали работники, сын Петр и дочка Нюраня – Анфиса никого не стыдилась. По ее лицу текли слезы и смешивались с кровью, а она все молила и молила сына. Степан перепугался, стал мать поднимать, она вырывалась, снова падала и заклинала...

Вырвала-таки у сына обещание на год в тайгу уйти. Где год, там и три.

Работники у Анфисы всегда были не из болтливых. Соседкам про царапины на лице говорила – кыса (кошка) подрала. И все прислушивалась к себе – уйдет ли страшное предчувствие. Ушло.

Тревожась о сыне, Анфиса про мужа забыла. Думала: старый, под пятьдесят лет, не призовут. Однако Ерему забрали в солдаты. На фронт он не попал – по дороге заболел тифом, ссадили его в Самаре и в госпитальный тифозный барак для умирающих бросили. Но Ерема выжил, стал поправляться и потихоньку чинить-ремонтировать госпитальное хозяйство. Начальник госпиталя его приметил и оставил служить санитаром. В семнадцатом году скинули царя, и началось брожение. Ерему политические страсти не занимали. Выхлопотал отпуск домой, уехал и не вернулся.

Настали лихие времена. Думали: война, на которую забрали самых сильных мужиков, – временное испытание, а это было только начало, и смуте не виделось конца. Подросшие деревенские парни вместо плуга и косы взяли в руки винтовки и ушли воевать, кто за белых, кто за красных, за большевиков, за колчаковцев. Степана после трех лет таежного промысла никакими силами удержать дома было нельзя. Он боялся еще одной материнской истерики и настроил себя решительно – не поддаваться ей. Однако мать только скривилась презрительно:

– В умники попал, а из дураков не вышел.

Еремей называл Степана непонятым Анфисе словом «пролетарий», во время их споров она переводила взгляд с сына на мужа, силясь понять, о чем ведут речь и на чьей стороне правда.

– Значит, пролетарии всех стран, соединяйтесь? – насмешливо спрашивал Еремей. – А крестьяне чего ж не соединяйтесь? Или купцы? Или мастеровые люди?

– Пролетарии – главный класс, движущая сила революции, – отвечал Степан.

– Видел я этих пролетариев. Спаси бог от такой движущей силы. И на что тебе революция нужна?

– Для всеобщего равенства, справедливости и счастья.

– Вот конкретно в нашем селе, – не отступал отец, – с кем равенства желаешь? С Данилкой Сорокой, с Петькой Игнатовым и с Афоней Плюгавым?

Это были распоследние пьяницы и лодыри.

– Я мыслю не про конкретное наше село, а во всемирном масштабе, за счастье всего человечества.

– Что тебе известно про человечество, шишкойбой, лесной бродяга? Дальше Омска мира не видел, а в благодетели записался. Хочешь через оружие и кровь людей счастливыми сделать?

А у них спросил, что им счастье? Нельзя насильно, под дулом или на аркане тянуть людей в Карлой Марксой придуманную благодать.

– Можно! – упорствовал Степан. – Лекарь, например, больно человеку делает, но для его же последующего здоровья.

– Лекарь тоже разные бывают, я их три года наблюдал. Знаешь, как говорят? У каждого доктора, мол, есть свое кладбище пациентов. Гробы только успевай строгать. Так что ты разберись, сынок, не на погост ли людей тянешь. Да и сам на нем не окажись.

– Уже разобрался!

– Ну-ну. Хороши были волосы, да отрубили голову...

В молодости Еремей несколько лет работал под началом артельного мастера, который знал сотни поговорок, на каждый случай жизни, и откликался ими на любой чих. Память у Еремея была отличной, и пословицы-поговорки он легко запомнил, а со временем и сам стал вставлять их в речь. Не потому, что хотел прослыть краснобаем, а потому, что пословицы – это веский, непререкаемый аргумент. Недаром ведь молвится: пословица не судима. И еще народная мудрость всегда оказывалась к месту, чтобы поставить точку в спорах, вести которые Еремей не любил.

Его мастерство было хорошо известно в губернии, подрядчики соревновались, чтобы заполучить Медведева в артель. Спокойный, уравновешенный, малопьющий Еремей Николаевич никогда не торговался за копейку, легко осваивался в любом коллективе, не устраивал ссор, не входил в группировки, от любой смуты держался в стороне, а его работа вызывала восхищение. Если при нем обижали ребенка или женщину, он мог скрутить пьяного дебошира или выкинуть на улицу. Но если он проходил мимо дома, где тот же дебошир лупил детей или жену, то Еремей именно проходил мимо – не заглядывал, не вмешивался. Он отказывался работать с негодным, сырым материалом, и никакая денежная выгода не могла его подвигнуть на брак. Но когда другие ставили рамы из непросушенной древесины, которую через год винтом поведет, он смотрел на это спокойно.

В самарском госпитале вместе с двумя выздоравливающими солдатами Еремей починил водопровод, наладил канализацию, залатал крышу, переложил печи на кухне и еще десяток мелких работ выполнил. Он построил красивую беседку возле барака, в котором жили врачи и сестры милосердия. Теперь они могли в редкие минуты отдыха пить чай на свежем воздухе. Когда не хватало персонала, Еремей не чурался грязной санитарской работы – выносил из операционной тазы с ошметками кровавой плоти, мыл лежащих больных и перестилал им постели, отвозил покойников в морг. Его любили врачи и сестры, не хотели отпускать, главный врач умолял вернуться после отпуска.

– Как сложится, – ответил ему Еремей. Вышел за ворота и забыл о госпитале, где все почему-то считали, что он вкладывает в работу душу. А это была просто добросовестность.

Душа же его была намного больше, сложнее и шире, чем можно было подумать, глядя, как он налаживает производство гробов. Бесконфликтность и покладистость Еремея объяснялась его равнодушием. Ему были безразличны человеческие страсти: борьба честолюбий, желание главенствовать, прославиться, разбогатеть. И носители этих страстей – обычные люди – тоже были ему неинтересны.

Он мог очаровать и очаровывал людей, не прилагая к тому никаких усилий, не ставя целью, не желая. Ему приписывали замечательные достоинства, и Еремей никогда не давал повода разочароваться. Но только Анфиса, жена, знала, что в основе его характера лежит равнодушие – ко всему и ко всем, даже к собственной работе. То, что сделал вчера, сегодня уже ему не нравится, неинтересно, постыло. Анфисе достался муж, у которого хозяйская сметка и забота отсутствовали начисто. За тридцать лет супружеской жизни Анфиса так и не смогла с этим смириться. Цедила презрительно:

– Мясо хорошо в пирогах, реки в берегах, а хозяин – в доме.

Она тоже взяла привычку вставлять пословицы и поговорки, но с целью, отличной от мужниной. Хотела бить Ерему его же оружием.

Анфиса у сына спрашивала, кто такая Карла Маркса. Оказалось – мужик, придумавший учение про пролетариат, который есть простые грязные фабричные рабочие. По разумению Анфисы, Карл Маркс секту организовал, вроде молокан или трясун, только без плясок. Степушку в секту втянул Вадим Моисеевич, ссыльный. Учительница их школьная померла, жид Моисеевич одну зиму ее заменял. По весне новую учительницу прислали, но ребятня, подростки и те, кто постарше, продолжали к Моисеевичу бегать. Книжки он им читал, разговоры вел. Кто ж знал, что плохому научит? Задурил парням головы проклятый жид!

Однако когда Колчака разгромили и Степан властью стал, Анфиса стала думать, что не муж был прав, а сын, и секта правильная. Обещают порядок навести и справедливость. Несправедливостью, чистым грабежом были злодеяния колчаковцев, которые хлеб да скот отбирали, парней силой уводили. Кроме того, название у секты было хорошим – «большевики». Как большевики, то есть старшие, наследники, опора родительская.

Не прошло и года, как «политические взгляды» Анфисы резко переменялись.

Укладываясь спать, поостыв, Анфиса думала о том, что надо смириться с выбором сына – Прасковья так Прасковья. Все равно Степку не сломаешь. Только пусть прощения за грубость, непочтение к родителям попросит и, как положено, благословения.

Она несколько не сокрушалась о том, что обругала сына, и не видела противоречия: Степан к ней с вестью давно желанной, а она в ответ заяростилась. Любое своеволие в семье, попытки жить своим умом, принимать решения без ее ведома вызывали у Анфисы бешеный протест. И хотя на Степана, как и на мужа, ее гнев не действовал, они все-таки без лишней нужды старались не попадать матери под руку. Для остальных же это была наука: поблажек ни для кого Анфиса Ивановна не делает.

Степан

Выйдя из дома, Степан запахнул тулуп, поднял воротник. На улице бушевал злой ноябрьский ветер, стрелял ледяной картечью. Под ногами бугрилась невидимая замерзшая грязь – чтобы не оступиться, идти приходилось осторожно и вихляво. Звезд и луны на небе не было, только свет в окнах – мерцающие огоньки – указывал путь.

В доме вдовы Лопаткиной нынче супрядки. Лопаткина зарабатывает тем, что шьет и продает одежду из домотканого полотна. В старые времена порты и рубахи посконные (из конопляного волокна) были рабочей одеждой, а повседневные и особенно праздничные наряды приобретались в городе, в том числе и нижние рубахи из тонкой бязи или даже батиста. Теперь мало кто мог себе позволить фабричный шик, и домодельная одежда стала основой гардероба. Большинство женщин сами ее изготавливали. Времени на украшения – пустить по подолу и по вороту тесьму, вышивку – не оставалось, ведь одежды требовалось много. Да и где взять тесьму и нитки нелняющие? Старые запасы кончились, а новые приобретать – дорого, на соль не хватает. Кроме нательной одежды ведь надо еще напрядь шерсть, навязать чулки (их носили и мужики, и бабы, и дети), исподки и верхницы (рукавицы). Сибирь не прощает легкомысленного отношения к одежде. Однако женщины остаются женщинами: чуть отпустило лихолетье, стремятся украсить себя. Сибирячки поверх рубах надевали поневы – своеобразные юбки из двух-трех не сшитых, а укрепленных на поясе полотен, и телогреи – длинные распашные кафтаны с широкими косыми клиньями по подолу, стеганные ветошью или шерстью.

Лопаткина как раз и шила поневы да телогрейки – теперь, а в былые времена предпочитала ладить душегрейки – праздничное дамское полупальто из беличьего меха, крытое штофом или ею лично по сукну расшитое стеклярусом и шелковыми нитками. По наблюдениям Степана, Лопаткина зарабатывала мизер, едва сводила концы с концами, но упорно колдовала над чанами, варила краски, изготавливая крашенку – цветное полотно для своих изделий, и ни одна вещь, проданная ею за копейки, не походила на другую. Лопаткину прозвали Модисткой, вложив в это слово и уважение, и насмешку. Уважение – за преданность своему таланту, насмешку – за неумение на нем разбогатеть. Столько полотна наткать, пряжи льняной и шерстяной напрядь, сколько нужно для понев и телогреек задуманных, Лопаткина-Модистка сама не могла. Она привлекала сельских девок и молодых, четко зная их умения и раздавая уроки-задания. Расплатой были супрядки, дословно – «совместные прядения», а по факту – вечеринки, гульбища.

Степану как главе власти ходить на подобные сборища было зазорно. Но Степан никогда не боялся уронить авторитет, потому что уважение – это не задранный нос и не котелок с варевом, который надо донести и не расплескать. Авторитет – это твои дела. Где ему с молодежью, которая есть движущая сила будущего справедливого общества, встречаться, как не на супрядках? И еще имелся личный мотив. Мать Прасковью держала в доме, не позволяя носа на двор высунуть, но к Лопаткиной на супрядки отпускала.

Степан ломал голову над тем, как уговорить Прасковью – Парасю, Парасеньку – жениться без церковного венчания. Когда впервые заговорил о том, что ему, партийцу, в храме попу кланяться никак невозможно, Парася испуганно вытаращила глаза, закусила кулачки и смотрела на него с таким страхом, будто он смертный грех предложил. Хотя, с точки зрения Параси и большей части их дремучего населения, жить невенчанными и есть большой грех. У Параси не было страха в глазах, когда давала отлупы Данилке Сороке и Сашке Певцу, а тут до слез расстроилась и испугалась.

Благодаря Данилке и Сашке, известным варнакам, Степан и обратил внимание на Прасковью Солдаткину.

За правдой, то есть помощью, к Степану пришла Наталья Егоровна Солдаткина, мать Прасковьи:

– Ты теперь власть, Обчество старинное разогнали...

Как и во всех сибирских селах, в Погорелово до революции имелось крестьянское Обчество (по-расейски – Общество, Община, Мир). Сибиряки делили людей на «своих», то есть членов Обчества, и «расейских», то есть переселенцев, на «своих» и чиновников. Попасть в Обчество было непросто, но уж если тебя приняли, то пользуешься законом (и бесплатно!) общими угодьями, «рыбными местами», ягодниками, ближними лесами и находишься под надежной защитой от произвола властей. А случись с тобой несчастье в виде смерти, Обчество не оставит сиротинушек без пригляда и помощи. На общем сходе, который называли «общественное согласие», выбирали старосту, окладчика, счетчика, рассыльных, челобитчиков, заслушивали отчеты предыдущего «сельского правительства». Справедливо ли оно распределяло натуральные повинности: ямщицкую, выделение лошадей и подвод, исправление дорог, отопление правления, школы и церкви, оплачивало учителей и караульную службу; собирало подати, налоги и отчисления на нужды Обчества? Староста и понятые выполняли судебные функции – разбирательства о мелких хищениях, потравах посевов, разделе имущества, несоблюдении противопожарных мер, незаконной порубке леса, жалобы о предосудительных поступках: предерзости в миру, непристойности, пьянстве, буянстве, распутстве, похабстве, и даже «кляузничанье на суседа» могло стать основанием для общественного приговора. Чаще всего он представлял собой штраф – «мирской начет», но случались и посадки в кутузки, на хлеб и воду. Крайней мерой было исключение из Обчества и изгнание из села.

– Вместо Обчества, – напомнил Степан Солдаткиной, – теперь Советы.

И едва удержал тяжелый вздох. Вся полнота исполнительной власти теперь лежит на его плечах. При этом губернская законодательная власть сама не знает, чего хочет.

– Мне советы не нужны, – отрезала Наталья Егоровна. – Советами девке не поможешь.

Наталья Егоровна рассказала о том, что Данилка Сорока и Сашка Певец не дают прохода ее дочери Прасковье. Домогается Сорока, а Сашка в его приспешниках. Женщина перечислила длинный список учиненных «безобразий», которые по характеру делились на два противоположных действия – задабривания и угрозы. Сорока как-то швырнул под ноги Парасе полфунта конфет и орехов – она переступила и пошла дальше, ребяшня бросилась поднимать. Подарками, вроде шали набивной и сережек с рубинчиками, пытался подластиться. Парася его подарок не приняла.

– Откуда у выжиги шали да сережки? – спрашивала Наталья Егоровна и сама же отвечала: – Не иначе, ворованные. Сам знаешь: поселенец что младенец, на что глянет, то и стянет.

Одновременно Сорока подлавливал Парасю, зажимал, пытался лапать, а его постоянный адъютант Сашка Певец на стреме стоял и смеялся. Парася отбивалась чем под руку попадет. Один раз с ведрами шла, окатила Сороку водой. Но того не отлить, настырный. Жениться-то он звал, понятно. Да разве пойдет справная девушка за такого пропойцу и охальника? В последнее время дошло до прямых угроз. Данилка Сорока заявил, что если не будет добровольного согласия, то пойдет за него Прасковья порченная, никуда не денется. Она теперь из дому не показывается, только вместе с матерью выходит.

– Завчера, – подвела итог своему печальному рассказу Наталья Егоровна, – измазали нам ворота дегтем. Стыд-то какой! Срамят девку. Знаешь ведь, как люди подумают: честная-то честная, а дыму без огонька не бывает...

– Разберусь, – пообещал Степан.

Связываться с Данилкой и Сашкой ему не хотелось, но давно уже требовалось.

Сорока и Певец были из столыпинских переселенцев, приехавших в село в шестом году. Между переселенцами и старожилами всегда существовали разногласия. И до реформы Столыпина ехали за Урал «расейские», как их называли коренные сибиряки, а после реформы потоком хлынули. Старожилы из Общества считали несправедливыми претензии переселенцев на пахотные земли и пастбища. Земли навалом – расчищайте, окультуривайте и пользуйтесь. В точности как предки старожилов поступали. А переселенцы претендовали на все готовенькое да еще помощь от государства получали, и от податей, денежных и натуральных, их освобождали. Ловко устроились!

Несмотря на льготы, в суровых сибирских условиях редкая семья могла быстро стать на ноги. Приходилось наниматься в работники к старожилам. Это был честный путь в Общество. Потому что хорошему работнику всегда платили много: до семидесяти рублей в год, плюс одежда и молодняк скота, плюс «присевки» с полутора десятин земли, засеянных хозяйскими семенами. Платили исправно; случись неурожай, хозяин расплачивался «по уговору», то есть работник получал всегда сполна. Он сидел за общим семейным столом, мог обращаться к хозяину на «ты», его жена и дети находились под покровительством хозяйки. За три-четыре года хороший работник накапливал сумму, достаточную для ведения собственного хозяйства, и писал прошение о вступлении в Общество. Если принимали, он пользовался общими сельскохозяйственными угодьями, платил подати – их размер всегда служил показателем богатства и гражданской состоятельности.

Среди переселенцев таких, кто хотел и мог своим трудом выбиться в достойные хозяева, было большинство. Но, как всегда это бывает, гнилое меньшинство портило жизнь: лодыри, бражники, паскудники своим поведением совращали молодежь, подрывали вековую мораль и устои. Если раньше «поганую овцу» центробежной силой общего неприятия выбрасывало прочь – парень уходил на прииски, в старатели, на тракт подменным ямщиком, – то теперь он никуда не уходил, куролесил и куражился по месту жительства. Пока Общество было в силе, пока не наступили смутные времена войн и революций, на поганцев находили управу. Тот же Данилка, которого сход Общества постановил изгнать из села, ходил по домам, кланялся в ноги мужикам, обещал «исправиться поведением». Ему поверили, и напрасно. Власть Общества упразднили (стараниями того же Степана), и пропал инструмент воздействия на варнаков. Тридцатипятилетний Данилка – бандитская разбойная натура мелкого деревенского пошиба – привлек для проказ Сашку Певца, безвольного, безалаберного, но музыкально одаренного парня, которому все бы гармонь растягивать, на балалайке бренчать да песни голосить.

Для Степана сложность заключалась в том, что и Данилка, и Сашка были классово родственными элементами. Сражались на стороне красных, хотя как сражались – еще вопрос. Данилка называл себя «крестьянским пролетарием», но в партии большевиков не состоял, всегда поддерживал Степана, горлопаня на сходах (по-теперешнему – общих собраниях) и даже угрожая карами почетным старикам. Авторитетов Данилка не признавал, а Степан не мог до конца избавиться от привитого с пеленок уважения к старшим и мудрым.

Степан решил первым делом выслушать «потерпевшую». Слово это ему очень нравилось, впервые услышал на воинском суде во время службы в Красной армии. Потерпевший в его представлении – это человек, над которым надругались, а он достоинства не потерял и просит о справедливом возмездии.

Потерпевшая Прасковья, когда он пришел в дом Солдаткиных, смотрела в пол и наливалась красным цветом.

– Значит-ца, – заговорил Степан, – ты жалуешься на Данилку и Сашку?

– Нет, – прошептала она.

– Чего «нет»?

– Не я жалуюсь, а мама.

– Это сути не меняет. Какие такие их действия тебя конкретно оскорбили?

Степан понимал, что несет чушь и говорит, как их приходской дьячок, который в подпитии витийствовал. Степан удивлялся сам себе, но перестроиться не мог.

На вопрос Парася не ответила, только покраснела еще пуще.

Анфиса Ивановна, мать Степана, была не права, обзывая Прасковью шклявой и нюхлой доходягой. Естественный отбор: суровый, но очень здоровый климат, раннее закаливание, отличное питание вкупе с дозированными трудовыми нагрузками детей («надорвать» ребенка или подростка считалось большим грехом) вывели породу, которая по праву прославилась. «Сибиряк» и «сибирское здоровье» стали синонимами крепости тела и духа. Анфиса Ивановна, ее муж, сыновья, невестка Марфа – все под два метра и могутные. Рядом с ними Прасковья, метр с полтиной, выглядела недоростком. Однако она была хорошо и пропорционально сложена, и ее бедра круглились приметно (залог хороших родов). В Расее Прасковья за первый сорт сошла бы. Но Сибирь не Расея. Лицом Прасковья неприметна, глазу не зацепиться ни за красоту, ни за уродство – не ряба и не носата. Не то что любой из Турков – у них волосы вроде конской гривы, а нос «на троих рос, одному достался». Миловидность Прасковьи заметить было сложно еще и оттого, что, стеснительная, она редко поднимала глаза, а если и смотрела на собеседника прямо, то в ее взгляде была испуганная просительность. По крестьянским представлениям, девка должна быть скромной, но не робкой. Скромность считалась следствием хорошего воспитания, а робость – неисправимым природным недостатком. Девка должна помалкивать (скромно), но, коль спросят, отвечать (не робея) внятно, не заикаясь. Робость воспринималась и как слабость характера, и как физическое малосилье, что сводило на нет прочие достоинства девушки. Именно таких установок придерживалась мать Степана, но не он сам. Его как раз пленяли робкие, пугливые женщины. И не потому, что рядом с ними он чувствовал себя особенно могутным. Его охватывало умиление сродни тому, что бывает, когда смотришь на молоденькое дерево, ребенка, котенка или щенка, козочку или жеребенка. Но девушка, конечно, не березка годовалая и не телочка новорожденная, так ведь и чувство его с другим оттенком – с плотским желанием.

– Повторяю свой конкретно-предметный вопрос, – сказал Степан и неожиданно закашлялся. – В чем выражаются ваши требования как потерпевшей?

Казалось, что Прасковья грохнется сейчас на пол в беспамятстве. Степан даже представил, как отхаживает ее, положив на свои колени. Но девушка резко повернулась и убежала в глубь дома. Степан остался стоять дурень дурнем. Помялся-помялся да и пошел вон.

За оградой поджидали Данилка и Сашка. Не замедлили нарисоваться.

– Ты чаво ето, председатель, – нарочито коверкая слова, начал Данилка, – к моей зазнобе подкатываешь?

– Была твоей, стала моей, – неожиданно для себя самого свирепо ответил Степан.

– Как ето?

– А вот так!

Степан с размаху, со всей силы заехал Данилке в рыло. Тот улетел на противоположную сторону улицы. Непонятная злость еще не вышла из Степана, он повернулся к Сашке. Тот попятился, с перепугу напоролся на колдобину, упал на зад, ойкнул, подскочил и бросился бежать. Гармонь, которую Сашка теперь держал за один ремень, растянулась мехами, подлетала и хлопала его по ногам.

Степан засмеялся.

– Я тебе не оставляю, – сказал Данилка.

Степан развернулся к нему, продолжая улыбаться:

– Чего?

– Того!

Данилка сидел на земле и утирал кровь с разбитой губы.

– Вот и поговорили, – усмехнулся Степан. – Еще раз Прасковью обидишь, заопясть получишь.

И пошел прочь.

Данилка его угрозы не испугался, и неизвестно, как сложилась бы судьба Прасковьи, если бы Данилка Сорока не заболел. На рыбалке провалился в реку, намок. Застудился сильно, лихорадка была припадочно, от жара бредил, метался. Потом кашлять начал надрывно, будто чахоточный. Думали, не выкарабкается, а он сдюжил, хотя два месяца провалялся в болезни. За это время у Степана с Прасковьей и сладилось.

Собаку, кысу, теленка, петушка или даже волчонка, в тайге найденного, приручить – известное дело. А соболя или песца ручными сделать нельзя – не домашняя, дикая у них природа. Парася стала для Степана соболенком, которого он сумел сделать ласковой кысой. Сначала разговорами-беседами, потом осторожными дотрагиваниями. Приручал Парасю к себе не из гордого самомнения, не для забавы, а по велению сердца, неожиданно и сладко растрепанного. Когда Парася научилась не прятать глаза, смотреть на него, и во взгляде ее был океан любви, веры, надежды, счастья, Степан почувствовал ответственность не меньшую, чем за мировой пролетариат и всемирную революцию. Великая Цель стала вдруг почти вровень с целью бытовой – сделать Парасю счастливой, иметь от нее детей, выстроить свой семейный коммунизм.

По общему мнению, «Степан не в отца пошел», их сходство ограничивалось внешностью. На самом деле у них было много единого. И тот и другой – фанатичные идеалисты. Только идеи разные: один бредил красотой и хотел поспорить с природой, второй мечтал о всеобщем счастье и переломе существующего миропорядка. И в отношениях с женщинами у них был одинаковый пусковой механизм чувственности – жалость. Хотя у Еремея Николаевича эта жалость не простиралась дальше полового удовлетворения – любовь к женщине никогда не была для него источником вдохновения. Степан Еремеевич, напротив, при отсутствии художественных талантов, был способен поэтизировать женщину, испытывать в ней потребность не только под одеялом.

На супрядки Степан пришел вовремя. Пасмы с пряжей уже убрали, на стол выставлялось угощение, в дом один за другим заходили парни, помогали расставить лавки, освободить место для плясок. Обмен подначками и шутками начался. Все щелкали кедровые орешки – привычное лакомство, помогавшее растворить неловкость первых минут общения.

Среди мужского пола были шестнадцатилетние недоростки, которых в прежнее время не допустили бы на вечерку, и вдовцы седые, которым новую жену положено выбирать не на гулянках, а с помощью свахи. Данилка Сорока с Сашкой Певцом явились без приглашения. Лопаткина только вздохнула: раньше неприглашенному парню можно было показать на выход да послать вдогонку обидные слова. А теперь на мужской пол недостача, всякому путь открыт. С другой стороны, без заводного Сашки с его гармонью, песнями, прибаутками супрядки выйдут скучными и пресными, в следующий раз девушки могут не согласиться на работу в уплату за гулянку.

Сашка растянул гармонь, выдал бравурную мелодию и запел частушку:

Как на Каче грязь и тина,
Там девчонки как картина.
Как на Каче грязь и кочки,

Там девчонки как цветочки.

– Ой-ка! – притворно возмущенно воскликнула одна из девушек и запела в ответ:

Ты, извозчик, подай клячу,
Увези меня на Качу.
Милый мой по Каче плавал,
Утонул, паршивый дьявол.

После обмена частушками затянули плясовые песни и начались танцы – «крутихи», в которых парень брал девушку под руку и они вращались на месте. В избе тесно – хороводы не поводишь, но в тесноте свои преимущества – можно прижаться как бы невзначай. Разгоряченные парни выскакивали на улицу – охладиться, девушки смеялись в ладошку, молодухи были откровеннее: «Унесся штаны выстужать!»

Стали играть в «Фантики», в «Золото хоронить», в «Ремяшок», в «Соседа». Смысл всех игр заключался в том, чтобы показать свое расположение той или иной персоне.

В игре «Сосед» расселись парами, Сашка – ведущий – спрашивал:

– Соседка соседа любит?

– Не любит, – отвечала девушка.

– А кого любит?

– Вон того, – показывала она пальцем на другую пару.

Парни вставали и менялись местами, пока у каждой девушки не оказывался рядом тот, кто ей нравился. Степана выбирали часто, только и вскакивал, а Прасковья особым успехом не пользовалась.

– Эх, давно я с девками не целовался! – подал клич к новой игре Данилка. Плюхнулся на лавку, подхватил ближайшую девушку и усадил себе на колени. – На проходку!

В этой игре девушки сидели на коленях у парней. Один из них, беспарный, достал из кармана горсть орехов и поклонился:

– Девки, припойте меня!

Девушки затянули проходочную песню:

Конь по бережку похаживает,
Золотой уздой побрякивает,
Золотой уздой, серебряною.
А навстречу ему девица.
Сходится близешенько...

Парень подошел к выбранной им девушке, поклонился, протянул гостинец.

Девушки громко повторили:

Сходится близешенько,
Целоваться милешенько!

Девушка встала, шагнула вперед, подставила лицо. Они поцеловались и ушли на край лавки, а оставшийся без пары молодец вышел «на проходку».

«Целовальных» игр было много, они как дозволенный акт входили в народный моральный кодекс. По этому кодексу, если девушку ненароком в укромном месте увидят в объятиях-лобызаниях с парнем, то хула-позор и ворота в дегте ей обеспечены. С другой стороны, как еще законно и прилично дать выход бурлению молодых соков? Как понять, волнуют ли

тебя до внутреннего трепета прикосновения избранника, или поцелуи его оставляют сердце холодным? Только в «поцелуйных» играх. Ведущий зорко смотрел, чтобы поцелуи не затягивались, губами соприкоснулись – и только. Для того, кто нарушал, у ведущего в руках были вожжи или ремень.

Когда очередь дошла до Сороки, у Степана не было сомнений, кого он выберет для поцелуя. Сидящая на коленях у Степана Парася замерла, будто одеревенела.

Сашка, перебивая поющих девушек, заголосил:

Катилыся кадка,
Целоваться сладко.
Катилыся колесо,
Целоваться хорошо.
Из Москвы пришел приказ:
Целоваться сорок раз!

Данилка остановился напротив Прасковьи и, ухмыляясь, протянул ей сладкий пряник. Она помотала головой и вжалась спиной в торс Степана.

– Перебьёсья! – сказал он, поднимаясь и ставя девушку на ноги. – Спасибо честной компании! Будьте здоровы!

Пошел к выходу, подталкивая впереди себя Прасковью.

Данилка побелел от гнева. Сашка, несколько не огорченный позором друга, запел:

Елка сухая, топор не берет,
Милка скупая, никак не дает!

Грянул общий смех, сметая возникшую было неловкость. Одна из бойких девиц выдала частушку:

Гармонистов у нас много,
Балалаечник один.
Давайте, девки, сбросимся,
По разочку дадим!

Она шлепнула Сашку по голове кулачком, следом и от других досталось ему оплеух. Мир и веселье были восстановлены.

Степан с Прасковьей сошли с крыльца и укрылись за ним от ветра.

– Ты подумала, Парасенька? – спросил Степан, прижимая девушку к себе.

– Чего ж думать, Степушка? – глухо сказала она, зарываясь носом в отворот его тулупа и втягивая, точно зверек, родной запах.

– Соболек ты мой, – нежно шепнул Степан.

Он ее часто называл собольком, хотя Парасе казалось, что ничего в ней соболиного нет – ни бровей, ни пушистых волос. Но звучало сладко. Степан, грозный с виду, могучий, авторитетный, с ней наедине становился мягким и ласковым. Его большие руки – кулаки с голову ребенка – касались ее бережно, с заботой. Поначалу робевшая до немоты в его присутствии, Парася постепенно перестала пугаться, а потом почувствовала свою власть над этим самым лучшим, красивым, сильным, умным, наипрекрасным человеком. Она творила с ним чудо, но и он зачудил ее до остановки сердца. В его объятиях ей иногда не хватало воздуха, сердце не стучало – так бы и померла в эту минуту, не жалко, лучше уж не бывает.

– Ты чего там нюхаешь? – Степан поднял ее лицо, взял в ладони.

– Сладко пахнет.
– Да чем же?
– Тобой.
– Ах, Парасенька! – Он снова прижал ее к себе. – Голубка ты моя, пичужка...
Она хихикнула кокетливо:
– Это что за животное я? Чудо-юдо какое-то. Соболек крылатый с клювиком?
Степан тоже рассмеялся.
– Парася, нам пожениться надо.
– Хорошо.
– Но в церковь я идти не могу: ни по совести, ни по долгу, ни по положению. Понимаешь?
– Понимаю.
– Мы с тобой распишемся по новым правилам.
– Не могу я без венчания.
– Вот опять! На дворе тыща девятьсот двадцать третий год!
– От Рождества Христова! Степушка, сокол мой, я для тебя всё-всё, – торопливо заговорила Парася, – хоть девичество мое, честь... лишь для тебя, с тобой...
– Сама-то себя слышишь? Девичество, мол, бери, а в жены не хочу...
– Я хочу! Очень хочу. Только без венца – это не жена перед Богом и людьми.
– Бога нет! – досадливо отрезал Степан.
– А кто ж мне такое счастье, кто тебя подарил?
– Земные отец и мать.
– Ты им сказал?
– Сказал.
Прасковья почувствовала по его тону, что объяснение с родителями было нелегким.
– Анфиса Ивановна меня не хочет?
– Захочет, никуда не денется, – отмахнулся Степан. – Вот представь, как я в церковь...
– Я твоей мамы боюсь, – перебила Прасковья. – Она строгая и меня не любит, да?
– Не о том ты кручинишься. Замерзла? Ну, иди сюда! – Он распахнул тулуп и охватил полами девушку.

Степан понял, что Парасю ему не уговорить. Она, конечно, политически дремучая, но ведь не твердая, а мягкая и податливая до невозможности. Мягкое сломать нельзя, только растоптать. А топтать свою любушку Степан не желал. Проблема заключалась еще и в том, что с местным батюшкой, отцом Серафимом, Степан был на ножах. Поп не прощал Степану настойчивого и успешного отстаивания молодежи от церкви. У них состоялось несколько резких бесед, в которых поп обвинял председателя в бесовщине и насаждении разврата. Степан, подкованный аргументами Вадима Моисеевича, своего главного учителя и наставника, с которым поддерживал постоянную связь, твердил про опиум для народа и приводил факты: в семнадцатом году в армии отменили обязательное присутствие солдат на богослужении, и две трети перестали их посещать. О чем это говорит? Настоящей веры нет, а только принуждение. И доказательств существования бога нет, а есть только ярмо на шее трудового народа и вожжи в руках попов.

В данных обстоятельствах прийти к отцу Серафиму и просить обвенчать совершенно невозможно. Значит, надо ехать за тридевять земель, где тебя никто не знает, и искать попа, который согласится на тайное венчание.

Была середина ноября, а настоящий снег еще не лег. Землю покрывал слой белой крупы. Природа точно злилась: прятала солнце, напускала суровые ветры, стреляла ледяной картечью. Степан проехал верхом семьдесят верст и закоченел до беспамятства. Ввалился в дом к отцу

Павлу, неразборчиво поздоровался и рухнул, дойдя до лавки. Попадья и поповны всполошились, принялись его раздевать и отпаивать горячим чаем.

– Какая нужда тебя, добрый молодец, заставила в такие погоды ко мне явиться? – спросил отец Павел.

– Жениться хочу, – зубами выбивая дробь о край чашки, простучал Степан. – Коня моего, там, во дворе...

– Присмотрят за твоим конем, – успокоил батюшка. – Венчаться, значит? Ну-ну. А ведь про тебя знаю. Степан Медведев, точно? Отец Серафим про тебя рассказывал.

«Откажет! – мысленно чертыхнулся Степан. – Куда мне тогда податься? Чуть не околел, а он откажет».

Но отец Павел согласился их обвенчать через две недели. То ли сыграло роль то, что жених едва не обморозился, то ли уговоры попадьи подействовали – Степан сам говорить не мог: согревшись и поев, уснул мертвецким сном. А возможно, между попами существовала какая-то конкуренция и один другому с удовольствием утер нос. Как бы то ни было, договор состоялся.

Обратный путь был веселее: ветер неожиданно утих, невидимые облака рассеялись, на бархатно-черном небе сияли звезды – дырки в Царствие Небесное, а самые большие ворота в него – лунные – освещали путь. Сравнение с Царствием Небесным пришло атеисту Степану в голову не иначе как благодаря тому, что он прикладывался к фляжке с крепкой брусничной настойкой, которую отец Павел дал ему для внутреннего согрева и с наказом вернуть. Не пустую, понятно.

В ночь перед венчанием Прасковья не могла уснуть. Ей, конечно, было обидно, что выходит замуж тайно. Не было ни сватовства, ни обряда расплетания косы, ни девичника. Не украшались сани свадебного поезда, не готовился пир на несколько дней. Однако эти утехи не шли в сравнение с тем, что она приобретала, с тем гордым довольством, которое испытала, когда Степан сообщил о скором венчании. Он просил держать секрет, но ведь завтра все и так узнают.

Прасковья, встав с постели, пробежала через комнату, забралась к матери под одеяло, прижалась к ней, как маленькая испуганная девочка.

– Ты чего? – сквозь сон пробормотала Наталья Егоровна, обнимая дочку. – Ноги ледяные. Приснилось страшное?

– Мама, я замуж выхожу. Степан увозом меня берет.

Наталья Егоровна мгновенно проснулась и запричитала. Против Степана в качестве мужа Параси она ничего не имела. Да и у кого язык повернется забраковать такого выгодного жениха? Опять-таки, Парася в него влюблена, без очков видно – расцвела девка, вся так и светится. Но почему тайно-то, по-варнакски?

Прасковья с жаром объяснила, что Степану не положено венчаться по законам новой власти.

– Зачем же нам власть, которая блуд привечает? – разумно спросила мама.

На этот вопрос у Параси не было ответа, но она с утроенной силой принялась оправдывать Степана (слышал бы он ее в этот момент!) и возносить ему благодарность за то, что ради любви, ради Параси, пошел против своего партийного закона.

Подъехав к дому Солдаткиных на выездных санях – с облучком и расписной спинкой, – Степан не стал вызывать невесту условным знаком – свистом. В доме горел свет, значит, не спят. Он оставил брата Петра в санях, а сам зашел в дом. Поздоровался, поклонился Наталье Егоровне и попросил руки ее дочери. Не по уставу говорил, но с извинениями и волнением:

– Простите, Наталья Егоровна, что беру вашу дочь увозом. Тому есть политические обстоятельства общей обстановки и мои личные. Я Прасковью люблю всем сердцем и обещаю вам беречь ее дороже счастья. Мне без Параси счастья нет.

Наталья Егоровна смахнула слезу и для благословения взяла в руки икону, с которой заранее вытерла пыль, натерла льняным маслом. Степану пришлось целовать икону и потом, в церкви, снова прикладываться к доскам с намалеванным образом, креститься неоднократно. Пережил – губы не отсохли, и лоб не треснул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.